



СТЕФАН

ЦВЕИГ

*ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Стефан Цвейг

**Триумф и трагедия
Эразма Роттердамского**

«Издательство АСТ»

1935

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(4Авс)-44

Цвейг С.

Триумф и трагедия Эразма Роттердамского / С. Цвейг —
«Издательство АСТ», 1935 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-156160-4

У многих читателей Цвейг ассоциируется прежде всего с любовной новеллистикой. В действительности же он был одним из авторов, стоявших у истоков сверхпопулярного в наше время жанра художественной биографии, превращающего сухие исторические имена и факты в повествование о настоящих, живых людях. Герой книги, Эразм Роттердамский, особенно близок Цвейгу. Будучи «человеком эпохи Возрождения» в полном смысле слова, он выступал против любого насилия и войн. Незаконнорожденный бедный сирота всего добился лишь собственным умом и талантом, стал крупнейшим философом, ученым, переводчиком с античных языков, написал «Похвалу глупости» – «международный супербестселлер эпохи Возрождения». Эразм был величайшим гуманистом, из его работ фактически вышла вся Реформация, а дружбы с ним искали самые могущественные государи Европы...

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-17-156160-4

© Цвейг С., 1935

© Издательство АСТ, 1935

Содержание

Миссия и смысл жизни	6
Взгляд на время	12
Безрадостная юность	15
Портрет	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Стефан Цвейг

Триумф и трагедия Эразма Роттердамского

Я пытался узнать, принадлежит ли Эразм Роттердамский какой-нибудь партии. Но один купец ответил мне так: «Erasmus est homo pro se», что означает «Эразм принадлежит себе».

*Письма темных людей.
1515–1517*

© Перевод. Л. Миримов, наследники, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Миссия и смысл жизни

Эразм Роттердамский, светоч своего столетия, сейчас для нас, и с этим трудно не согласиться, является одним лишь именем. Его бесчисленные произведения, написанные на забытом теперь наднациональном языке, на латыни гуманистов Средневековья, лежат никем не тревожимые в библиотеках; пожалуй, ни одно из них, некогда снискавших автору всемирную славу, нашему времени ничего не говорит. Да и сам он, не очень понятный, во многом противоречивый, затерялся среди других людей духа, более энергичных, более страстных реформаторов мира; о его частной жизни нам почти ничего не известно: биография человека, всю свою жизнь проведшего в неустанных трудах за книгами, редко бывает очень интересной. И само дело его жизни, формирование современного ему сознания, скрыто от наших глаз, как невидимые нам камни фундамента уже возведенного здания. Теперь же пришло время сказать, чем дорог нам Эразм Роттердамский, Великий Забытый: он дорог нам сегодня – именно сегодня – тем, что среди всех когда-либо писавших творческих личностей Запада он был первым воинственным борцом за мир, красноречивейшим защитником гуманистических идеалов. И то, что при всем этом в своей борьбе за справедливое гармоническое строение нашего духовного мира он оказался побежденным, то, что ему выпала эта трагическая судьба, делает его еще ближе нам, связывает его с нами еще теснее, еще более сильными, более интимными узами.

Эразм любил многое из того, что любим мы: поэзию и философию, книги и произведения искусства, языки и людей, все человечество без какого-либо различия между народами; и он поставил перед собой задачу – всемерно совершенствовать Человека, повышать его нравственность, воспитывать в нем моральные устои. И лишь одно он ненавидел – антипод разума: фанатизм. Самый нефанатичный среди всех людей духа, может быть, и не гений, но чрезвычайно эрудированный человек, сердце которого не отличалось пьянящей добротой, но было полно честной доброжелательности, Эразм в любой форме нетерпимости видел наследственный недуг мира. По его убеждениям, едва ли не все конфликты между людьми и народами можно разрешить не применяя силу, если противники будут уступать друг другу, поскольку все эти конфликты лежат в области человеческого; едва ли не любую распрю можно привести к мирному концу соглашением, если соперничающие стороны проявят добрую волю.

Поэтому и боролся Эразм с любым фанатизмом, безразлично каким – религиозным, национальным, мировоззренческим – с прирожденным, заклятым врагом любого взаимопонимания; он ненавидел всех фанатиков, твердолобых, однобоко мыслящих, в какие бы одежды они ни рядились, в одеяния ли священнослужителей, в мантии ли профессоров, мыслителей с шорами и зелотов любой национальности, любого сословия, постоянно требующих рабского следования их мнению, презрительно именующих ересью или мошенничеством любой другой взгляд, отличный от их взгляда. Не желая никому навязывать свои взгляды, он решительно сопротивлялся любому навязываемому ему религиозному или политическому учению. Самостоятельность мышления была для него безусловной необходимостью, и всегда этот свободный ум считал, что божественное многообразие мира пострадает, если кто-нибудь, безразлично, с церковной ли кафедры или с кафедры университетской, станет вещать свою личную правду, выдавая ее за откровение, которое Бог вложил ему, именно ему одному, в уста. Со всей силой своего сверкающего, разящего интеллекта он всю жизнь боролся с не терпящими возражений фанатиками их собственного безумия, в какой бы области знаний они ни подвизались. И очень редко – в счастливые часы – смеялся над ними. Тогда узколобый фанатизм казался ему всего лишь прискорбной тупостью духа, одной из бесчисленных форм «стультитии»¹, тысячи видов и разновидностей которой он так восхитительно классифицировал и окарикатуренно показал

¹ Глупости (*греч.*).

в своей «Похвале Глупости». Как праведник, абсолютно свободный от предрассудков, Эразм понимал своих самых озлобленных врагов и сочувствовал им. Но в глубине души он всегда знал, что фанатизм – неизлечимый недуг человеческой природы, что он разрушит его, Эразма, собственный доброжелательный мир, его жизнь.

Ибо миссией и смыслом жизни Эразма было гармоническое – в духе гуманизма – объединение противоположностей. Он был рожден как связующий или как «коммуникативный характер», говоря словами Гёте, который был подобен ему в неприятии всего экстремального, крайнего. Любой насильственный переворот, любое волнение, любой «tumultus»², любая грязная толпа были противны ясной сущности Мирового разума, которому он чувствовал себя обязанным служить как верный провозвестник; война же, эта самая грубая, самая жестокая форма разрешения внутренних противоречий, представлялась ему несовместимой с человечеством, мышление которого должно подчиняться определенным нормам морали. Редчайшее искусство гасить конфликты улаживанием споров, доброжелательным пониманием, прояснением смутного, уметь штопать порванную ткань, находить в единичном высокие черты всеобщего – в этом была подлинная сила его творческого гения, и современники с благодарностью называли эту волю к пониманию «эразмовской». Этим «эразмовским» человек хотел добиться мира. Писатель, филолог, богослов, педагог, соединяя в себе столь различные элементы творчества, он полагал, что подобная гармония во всем, казалось бы, непримиримом, возможна и во всей вселенной; ни одна сфера духовного мира человека не оставалась непонятой им или чуждой его искусству гениального посредника. Эразм не видел никаких моральных, никаких иных непреодолимых противоречий между Иисусом и Сократом, между христианским учением и мудростью греков Античности, между набожностью и нравственностью. Имея сан священника, он под знаком терпимости брал язычников в свое духовное царство небесное и братски ставил их рядом с отцами церкви; философия для него была иной, но такой же, как богословие, чистой формой богоискательства, греческий Олимп он боготворил не менее, чем христианское небо, Возрождение со своим изобилием чувственных радостей представлялось ему не врагом Реформации, как Кальвину и другим фанатикам, а движением, близким ей по духу. Не живя подолгу ни в одной стране, гражданин всех стран, он был первым сознающим это космополитом и европейцем, не признавая никаких преимуществ одной нации перед другими, приучив свое сердце оценивать народы по высоконравственным их представителям, по их элите, он все народы считал достойными любви. Целью его жизни было благородное стремление к объединению в большой союз всех образованных, всех доброжелательных людей разных стран, любых сословий; подняв латынь, этот язык, стоящий над всеми другими языками, до уровня новой формы искусства, до языка взаимопонимания, он создал для народов Европы на некоторый исторический отрезок времени – незабываемое деяние! – внациональные, единые формы мышления и выражения мысли. Его обширные знания благодарно оглядывались назад; его исполненный доверия ум был устремлен в будущее. Но он упорно смотрел мимо варварства мира, рвущегося вновь и вновь с неизменной злобной враждебностью спутать планы Бога; только высшая, творческая сфера братски притягивала Эразма к себе, и он считал, что каждый думающий, каждый мыслящий человек должен расширять, раздвигать это пространство, пока оно, чистое и единообразное, словно небесный свет, не охватит все человечество. Эта внутренняя убежденность – прекрасное, но трагическое заблуждение раннего гуманизма. Эразм и его единомышленники считали, что просвещение – движущая сила прогресса человечества, и полагали, что воспитание людей и сообществ может быть осуществлено через всеобщее образование, через учение и книги. Эти идеалисты шестнадцатого века трогательно, едва ли не религиозно верили в то, что природу человека можно облагородить упорным учением и чтением. Как ученый, глубоко убежденный в том, что книга обладает магической силой, Эразм никогда не сомневался в том,

² Беспорядок (лат.).

что морали можно научить. И проблема полной гармонизации жизни казалась ему гарантированной этой столь близко грезившейся гуманизацией человечества.

В то время эта высокая мечта, словно мощный магнит, привлекала к себе лучшие умы. Человеку, чувствующему и мыслящему в рамках высокой морали, его собственное существование всегда кажется незначительным и несущественным без утешающей мысли, без возвышающей душу иллюзии, что и он, единица, имея желание действовать, способен что-то сделать для облагораживания мира. Лишь ступенькой к совершенству является наше существование, лишь подготовкой к значительно более совершенному жизненному процессу. Вождем своего поколения становится тот, кто обладает этой верой в прогресс морали человечества через посредство нового идеала. Так произошло с Эразмом. Для его мыслей о европейском единении в духе гуманизма час был чрезвычайно благоприятный, так как величайшие открытия и изобретения на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков, обновление наук и искусств в рамках Возрождения через Возрождение давно уже были сверхнациональным коллективным переживанием всей Европы; западный мир впервые после многих гнетущих лет вдохновился верой в свое предназначение, и лучшие силы всех стран устремились к гуманизму. Каждый хотел стать гражданином этой Республики Просвещения, гражданином мира; императоры и папы, князья и священнослужители, художники и государственные деятели, юноши и женщины соревновались в стремлении получить образование в науках и искусствах, латынь стала их общим братским языком, первым эсперанто духа: впервые – восславим это деяние! – с падения Римской цивилизации благодаря Республике ученых Эразма вновь возникла общая европейская культура, впервые не тщеславие какой-нибудь одной нации, а благоденствие всего человечества стало целью братского содружества идеалистов. И это стремление мыслящих людей объединиться духовными интересами, языков – обнаружить общность в сверхъязыке, наций – найти окончательный мир в сверхнациональном, этот триумф разума был также и триумфом Эразма, его святым, но кратким и преходящим звездным часом.

Почему же – мучительный, горький вопрос, – почему это чистое государство не могло существовать длительное время? Почему те же самые высокие и гуманные идеалы духовного сообщества вновь и вновь привлекают к себе, почему «эразмовское» начало так слабо проявлено в человечестве, давно понявшем, насколько нелепа всякая вражда? К сожалению, нам следует это знать и принять как должное: идеал никогда не дает широким народным массам полного удовлетворения, всеобщее благоденствие не понятно им, и, кроме того, средний человек находится в ужасном, мрачном плену ненависти и половых инстинктов; и еще – каждый индивидум желает получить от любой идеи немедленную выгоду лично для себя. Конкретное, осязаемое массе всегда ближе, всегда доступнее, чем абстрактное, именно поэтому политики и используют более доходчивые, более понятные массам лозунги, лозунги, прокламирующие не идеалы, а вражду – удобная и очевидная антитеза, – вражду безразлично на что направленную, на другой класс, на другую расу, на другую религию, так как именно на хворосте ненависти фанатизму легче всего разжечь свой преступный костер. А сверхнациональный, объединяющий все народы пангуманизм, гуманизм, подобный эразмовскому, не дает, естественно, никаких поводов юношеству смотреть воинственно в глаза своим противникам – а ведь юношество так страстно желает этого, – лишает юношество возможности показать себя с наиболее выгодной стороны, наиболее эффектно, и никогда этот пангуманизм по природе своей не может вызвать тот стихийный импульс, который всегда ищет и всегда находит врага – обязательно по ту сторону границы своей страны, обязательно вне своей религиозной общности.

Именно поэтому у толпы успех имеют вожди тех партий, которые гонят человеческое недовольство в определенном направлении; гуманизм же, учение Эразма, в котором нет никакого, даже малейшего уголка для ненависти, свои героические усилия направляет к достижению далекой, едва видимой цели. Это есть и останется идеалом аристократии духа до тех пор, пока народ, о котором она грезит, пока европейская нация не станет реальностью. Поэтому

идеалистам, борцам за будущее человеческое взаимопонимание, людям, знающим человеческую природу, должно быть очевидно, что их дело постоянно находится под угрозой недоступных пониманию разума страстей, они должны жертвенно знать, что фанатизм, сжатый в сокровенных глубинах мира человеческих инстинктов во времена бурного потока человеческих страстей, обязательно прорвет все дамбы и вырвется наружу: едва ли не каждое поколение вовлекается в этот мутный поток атавизма, и моральным долгом людей является пережить этот кризис без внутреннего смятения.

Личная трагедия Эразма, однако, была в том, что именно он, самый нефанатичный человек, самый ярый противник фанатизма среди людей своего времени, как раз в тот момент, когда слава его сияла над всей Европой, оказался в средоточии дичайшей из когда-либо существовавших в истории вспышек национально-религиозных страстей, вовлекших в свой водоворот огромные массы людей. Вообще говоря, те события, которые мы считаем исторически значительными, не всегда отражались на живом национальном самосознании. Даже великие волны войн прошлых столетий захлестнули лишь отдельные народности, отдельные провинции государств и вообще, при социальных или религиозных столкновениях людям духа, возможно, и удалось бы удержаться в стороне от этих волнений и равнодушно созерцать игру политических страстей – прекрасный пример этому Гёте, который в страшные годы Наполеоновских войн мог спокойно творить.

Иногда же, очень редко – может быть, раз в столетие – под напором подобного ураганного ветра возникают антагонистические напряжения, и весь мир, словно кусок ткани, разрывается на две части, причем этот гигантский разрыв пересекает каждую страну, каждый город, каждый дом, каждую семью, каждое сердце. Тогда насилие всей своей чудовищной тяжестью наваливается со всех сторон на индивидуума, и тот не в состоянии защищаться, не может спастись от массового безумия; от волны подобной силы, подобного неистового удара не уйти, не найти такого места, которого этот вал не достиг бы. Такие расколы мира могут возникнуть при столкновении социальных, религиозных или каких-либо других духовно-теоретических антагонистических – безразлично каких – проблем, причем все равно, на какой основе произошло воспламенение; мир хочет гореть, полыхать ярким пламенем, он требует разрядки накопившихся сил ненависти, и чаще всего как раз в такие апокалиптические мировые часы массового психоза демон войны разрывает цепи безумия и, ослепленный страстью разрушения, свободно носится по свету.

В подобные ужасные мгновения массового безумия и раскола мира на враждующие стороны воля отдельных единиц беззащитна. Тщетно мыслящая личность пытается спастись бегством в обособленную сферу размышлений, время толкает ее в самую гущу свалки, понуждает примкнуть к тем или другим, к одной толпе или к другой, к одному лозунгу или к другому; в подобные времена ни один из сотен тысяч или миллионов не нуждается в большем мужестве, в больших силах, в большей моральной решимости, чем человек середины, который не желает подчиниться безумию толпы, не хочет следовать одностороннему мышлению. И здесь начинается трагедия Эразма. Как первый немецкий реформатор (и особенно как единственный, ибо другие были скорее революционерами, чем реформаторами), он пытается обновить католическую церковь, руководствуясь законами разума; но ему, прозорливому гиганту мысли, эволюционеру, судьба противопоставляет человека действия, Лютера, революционера, демонического исполнителя тупой немецкой народной силы. Одним ударом железный крестьянский кулак доктора Мартина разрушает то, что пыталась осторожно и нежно соединить тонкая, вооруженная лишь пером, рука Эразма. На столетия христианский, европейский мир окажется расколотым, католики встанут против протестантов, Север против Юга, германцы – против романцев, в этот миг существует лишь один выбор, одно решение для немецких людей, для людей Запада: папство или лютеранство, либо папская власть, либо Евангелие. Но Эразм – это его деяние достопримечательно – единственный среди вождей своего времени не желает

примкнуть ни к одному, ни к другому лагерю. Он не переходит ни на сторону католической Церкви, ни на сторону Реформации, ибо связан с обеими, не выступает ни против евангелического учения, поскольку, по убеждению, нуждается в нем и поддерживает его, ни против католической Церкви, ибо защищает в ней последнюю единую духовную форму погибающего мира. Однако и справа – крайности, утрировка, и слева – то же, и справа – фанатизм, и слева – так же, а он, убежденно нефанатичный человек, не желает служить ни той, ни другой крайности, он хочет остаться преданным только своему единственному, своему вечному критерию – справедливости. Чтобы спасти в этом раздоре общечеловеческие ценности культуры, он как посредник пытается встать в самую гущу свары, в самое опасное место; пытается голыми руками соединить противоположное, воду и пламень, примирить один фанатизм с другим: напрасный, безнадежный и поэтому вдвойне великолепный труд. В обоих лагерях сначала его поведение не понимают, и поскольку он доброжелателен и к тем и к другим, и те и другие надеются перетянуть его на свою сторону. Но едва обе противные стороны начинают понимать, что этот свободный, независимый человек не принимает никакое чужое мнение, не желает защищать никакую догму, так сразу же – и справа, и слева – на него обрушиваются ненависть и издевательства. И, не желая примкнуть ни к одному лагерю, Эразм оказывается в ссоре с обоими: «Среди гвельфов я гибеллин, среди гибеллинов – гвельф». Лютер, протестант, предает его имя проклятию, католическая Церковь вносит все его книги в индекс. Но ни угрозы, ни проклятья не могут заставить Эразма примкнуть к тому или другому лагерю; *nulli concedo*³, никому не хочу я принадлежать, этому своему девизу верен он до конца, *homo per se* – человек сам по себе, к каким бы следствиям это ни привело. Творческая личность, человек духа, Эразм свою задачу видит в том, чтобы быть человеком меры и середины, быть благожелательным, понимающим посредником между политиками, вождями и совратителями, между людьми, толкающими массы в пучину однобоких страстей. Он не примыкает ни к одному фронту, он один – всегда против общего врага любой свободной мысли, против любого фанатизма; он не имеет права быть в стороне от партий, так как художник призван сострадать всему человеческому, нет, он должен быть над ними, *au-dessus de la mêlée*⁴, бороться против одной крайности и против другой, против пагубной, бессмысленной ненависти, присущей каждой стороне.

Современники Эразма и те, кто наследовал его труды, очень неправильно нарекли трусостью это его поведение, это его нежелание примыкать к тому или другому лагерю и Колеблющегося Ясновидящего высмеивали, как индифферентного, непостоянного человека. Действительно, Эразм не вышел, подобно Винкельриду, с открытой грудью против мира, бесстрашно-героическое было не в его характере. Осторожный, стоял он в стороне и с готовностью, словно тростник, колебался вправо и влево, не только затем, чтобы не сломаться и вновь выпрямиться. Свое кредо, свое *nulli concedo* он не поднимал высоко, не нес гордо перед собой, словно дароносицу, нет, он прятал ее под плащом, как вор прячет свой фонарь. Иногда, во времена наиболее диких взрывов массового безумия, он укрывался в темных углах, брел окольными, тайными тропами, однако, и это самое главное, свои сокровища, свою веру в человека он сохранил невредимыми, он вынес их из ужасного урагана ненависти своего времени. И поэтому Спиноза, Лессинг, Вольтер и все последующие европейцы-мыслители смогли зажечь свои светильники. Эразм, единственный в своем поколении интеллеktуал, остался верен всему человечеству как единственному сообществу. Умер он одиноким, в стороне от поля боя, не принадлежа ни одной из воюющих армий, ненавидимый ими обеими. Одиноким, но – и это решающее – независимым и свободным.

Но История несправедлива к побежденным. Она очень не любит людей меры, посредников, умиротворяющих, людей человечности. Ее любимцы – люди страстей, люди исключи-

³ Никому не уступлю (*лат.*).

⁴ Над схваткой (*фр.*).

тельные, безумные авантюристы духа и действия, поэтому она едва ли не с презрением прошла мимо этого миролюбивого поборника гуманизма. На исполинской картине Реформации место Эразма где-то на заднем плане. Драматически следуют своей судьбе все эти люди, одержимые верой и гениальностью: Гус задыхается в пламени констанцкого костра, Савонарола – на костре Флоренции, Сервет брошен в огонь фанатиком Кальвином. У каждого свой трагический час: Томаса Мюнцера рвут раскаленными клещами, Джон Нокс прикован к галере, Лютер, упершись широко расставленными ногами в немецкую землю, гремит королю и всей стране свое: «Я не могу иначе!», Томас Мор и Джон Фишер кладут свои головы на плаху палача, Ульриха Цвингли убивают бердышом в битве при Каппеле – незабываемые имена, мужественные в своей яростной вере, восторженные в своих страданиях, великие в своей судьбе. Но за ними вдали, однако, пылает губительный огонь религиозного безумия, замки, разграбленные крестьянской войной, люди богохульно присягают Христу, которого каждый фанатик понимает по-своему, разрушенные города, крестьянские усадьбы, опустошенные Тридцатилетней, Столетней войнами, эти апокалиптические ландшафты, они вопиют к небу о земном безрассудстве, о нежелании идти на уступки. И в этой братоубийственной смуте, за великими полководцами церковных войн, в стороне от них отчетливо видится тонкое, подернутое печалью лицо Эразма. Он не стоит у столба для пыток, в руке у него нет меча, пламенные страсти не искажают его лицо. Но глаза его сияют голубым светом – они так прекрасно переданы Гольбейном, – и он смотрит сквозь этот хаос человеческих страстей в наше не менее страшное время. Некая спокойная отрешенность лежит на его челе, ах, ему хорошо известна эта вечная Стультиция мира, но легкая, едва заметная улыбка уверенности играет на его губах. Он знает, умудренный опытом человек: смысл всех страстей в том, что когда-то они устают. Такова судьба любого фанатизма – он всегда переигрывает себя. Разум же, вечный, терпеливый разум, может ждать и оставаться верным себе до конца. Иногда, когда другие в упоении безумствуют, ему следует молчать. Но его время придет, обязательно придет вновь.

Взгляд на время

Грань веков – пятнадцатого и шестнадцатого – по своей драматической напряженности эти роковые годы Европы сравнимы лишь с нашим временем. Внезапно пространство Европы становится мировым, одно открытие обгоняет другое, и благодаря отважности нового поколения мореплавателей за немногие годы наверстывается то, что на протяжении столетий было упущено либо из-за безразличия их предшественников, либо из-за отсутствия у них мужества. Словно на электрических часах, одна за другой выскакивают цифры: в 1486-м году Диас – первый европеец – открывает мыс Доброй Надежды, в 1492-м Колумб достигает американских островов, в 1497-м Себастьян Кабот – Лабрадора и тем самым американского континента. Новый континент включен в мир белой расы, но уже плывет Васко да Гама от Занзибара на Каликут и открывает морской путь к Индии, в 1500-м году Кабрал открывает Бразилию, и, наконец, в 1519–1522-х годах экспедиция Магеллана совершает достопримечательное и венчающее деяние, первое кругосветное путешествие – от Испании до Испании. Таким образом наконец-то признается созданный Мартином Бехаймом в 1490-м первый глобус – «Земное яблоко», – высмеянный его современниками как несусветная глупость, обруганный антихристианской гипотезой, отважный подвиг Магеллана подтвердил самые смелые мысли. Земной шар, на котором люди, угнетенные своим невежеством, носились в звездном пространстве, словно на «terra incognita»⁵, за одну ночь превратился в нечто реальное, оказывается, его можно познать, можно объехать, омывающие его моря – до сих пор просто мифическая, бесконечно волнуемая голубая пустыня – поддаются измерениям, водные пространства можно преодолеть, можно заставить их служить человеку. Одним рывком поднимается европейская отвага, в неистовом состязании на открытия во вселенной не будет более никаких пауз, никаких передышек. Каждый раз, когда пушки Кадиса или Лиссабона приветствуют вернувшихся в родную гавань галионы, к гавани устремляются толпы любопытных, сгорающих от нетерпения услышать сообщение о вновь открытых странах, подивиться никогда до сих пор не виданным птицам, зверям, людям; потрясенные, видят они огромные груды серебра и золота, по всей Европе разносится весть о том, что благодаря духовному героизму своих сынов европейская раса внезапно, едва ли не в одну ночь стала средоточием вселенной, ее владычицей. В это время Коперник вычисляет никому не известные орбиты звезд вокруг внезапно озаренной Земли, и все эти новые знания вследствие только что открытого буквопечатания с невиданной до сих пор скоростью разносятся по всему свету – в самые отдаленные города, в самые затерянные уголки Европы: впервые за прошедшие столетия Европа испытывает счастливое и жизнеутверждающее коллективное переживание. За одно поколение основные категории миропонимания человека – пространство и время – кардинально изменились, получили другие масштабы, подверглись переоценке – лишь на грани девятнадцатого и двадцатого веков – благодаря изобретению телефона, радио, автомобиля и самолета – мы снова внезапно столкнулись с подобной переоценкой категорий пространства и времени, лишь наше время, время этих открытий и изобретений, испытает подобное же изменение жизненного ритма.

Такое внезапное расширение внешнего пространства вселенной должно, само собой разумеется, повлечь за собой такие же резкие изменения в духовной сфере человека. Каждый индивидуум внезапно вдруг оказался вынужден мыслить, считать, жить в совершенно других измерениях; мозг еще только-только приспособливается к этим изменениям, а чувства уже изменились – беспомощное замешательство, полустрах, полувосторженное головокружение – такова всегда первая реакция, таков первый отклик души, когда она внезапно утрачивает меру, когда она мистическим образом лишается всех норм и форм, на которых до сих пор основыв-

⁵ Неизвестной земле (*лат.*).

валась. За какую-нибудь ночь все знания стали сомнительными, все вчерашнее стало тысячетлетней давности, безнадежно устарело и отмерло, карты Птолемея, бывшие для двадцати поколений неопровержимой святыней, после открытий Колумба и Магеллана превратились в посмешище для детей, произведения о Вселенной, астрономии, геометрии, медицине, математике, которые благоговейно переписывались не одно тысячелетие, которыми все предыдущие поколения восторгались как безупречными, потеряли свою значимость, все существовавшее до сих пор вянет под жарким дыханием нового времени. Покончено со всяческим комментированием и обсуждением трудов ученых Античности, ниспровергаются, словно идолы, старые авторитеты, рушатся бумажные горы трудов схоластиков, человеку открываются новые перспективы, о существовании которых он и не подозревал. Следствием внезапного обновления системы кровообращения европейского организма, обогащения ее новыми компонентами является ускорение ритма жизни, человечество лихорадочно стремится к знаниям, к науке. Развитие, находившееся в полусонном переходном состоянии, из-за этой лихорадки приобретает другой, несравненно более быстрый темп, все, казалось бы, давно устоявшееся приходит в движение, как при землетрясении. Унаследованные от Средневековья порядки перегруппировываются, иные поднимаются на более высокий уровень, иные – исчезают: рыцарство гибнет, города развиваются, крестьянство нищает, торговля и роскошь, благодаря туку – колониальному золоту – расцветают с тропической интенсивностью. Все сильнее и сильнее брожение, тотальная перегруппировка в социальном плане проводится в движении, на марше, происходит нечто подобное тому, что переживаем мы под ударами обрушившейся на нас сейчас техники, ее организации и рационализации во всех областях общественной жизни: наступает критический момент, когда усилия человечества как бы обгоняют его и ему требуется напрячь все силы, чтобы вновь догнать их.

На рубеже веков, в десятилетия переворота, вызвавшего следствия, переоценить которые невозможно, ударом поразительной силы потрясены все области человеческого бытия, даже самые глубинные слои духовного мира – религиозные, – которые до сих пор были пощажены штормами времени. Догма, загнанная католической Церковью в застывшую, неподвижную форму, словно скала стояла незыблемая, не подвластная никаким ураганам, и это великое, доверчивое повиновение ей было как бы символом Средневековья. Наверху стоял Авторитет и приказывал, внизу – человечество, преданно и послушно внимающее святым словам, не пытаясь хотя бы на йоту усомниться в их духовной справедливости, и малейшее сопротивление, где бы и в чем бы оно ни проявилось, вызывало со стороны Церкви немедленную реакцию: анафема ломала меч императора, гаррота душила еретиков. Это единодушное, покорное послушание, эта слепо и блаженно служащая вера связывала в великую общность народы, племена, расы, сословия, как бы враждебны они друг другу ни были; в Средние века люди Запада имели одну лишь душу – католическую. Европа покоилась в лоне Церкви, изредка побуждаемая и возбуждаемая мистическими сновидениями, но – все же покоилась, и всякое стремление к правде, к знаниям, к наукам было ей чуждо. Теперь же впервые беспокойство коснулось западной души: если можно познать тайны земли, почему непостижимы тайны Божьи? Постепенно одиночки поднимаются с колен, на которых покорно стояли с опущенными головами, и вопрошающе смотрят ввысь, вместо покорности их одухотворяет новое мужество: мужество мыслить и задавать вопросы; и вот, рядом с отважными авантюристами, с покорителями неведомых морей и материков, рядом с Колумбом, Писарро, Магелланом формируется поколение конкистадоров духа, решившихся штурмовать беспредельное. Религиозная сила, заключенная на протяжении столетий в догму, словно в опечатанную бутылку, вытекает из нее, испаряется, как эфир, и из церковных соборов проникает до самых глубин народа; мир желает обновлений и изменений и в этой последней, до сих пор нетронутой сфере – в религии. Вооруженный победоносной испытанной уверенностью в себе, человек шестнадцатого века уже не считает себя безвольной, ничтожной пылинкой, жаждущей росы Божьей милости, нет, он чувствует себя

средоточием событий, титаном, на плечах которого держится мир; исчезают покорность, подавленность, появляется чувство собственного достоинства, чувственное и непреходящее упоение собственной силой – то, что мы связываем с понятием Возрождения, и рядом со священнослужителями равноправно выступают люди умственного труда, рядом с Церковью – наука. И здесь также высшие авторитеты низвергнуты или, во всяком случае, поколеблены, с покорным безъязыким человечеством Средневековья покончено, появляется новое поколение, которое вопрошает и исследует с такой же религиозной страстностью, как прежние поколения верили и молились. Из монастырей жажда знаний перемещается в университеты – наступательные форпосты свободных исследований, – почти одновременно возникающие во всех странах Европы. Освобождается поле для деятельности писателей, мыслителей, философов, для провозвестников, исследователей всех тайн человеческой души, дух человека находит новые и новые формы своего проявления; гуманизм пытается вернуть людям Божественное без посредничества церкви, и уже поднимается, сначала неуверенно, но затем все более и более убежденная в своей правоте, поддерживаемая массами всемирно-историческая потребность Реформации.

Великолепное мгновение, смена веков, наступление новой эры: Европа как бы внезапно обрела единую душу, единое сердце, единую волю, одни и те же желания. Могущественной чувствует она себя, единым целым, призванной к еще не полностью осознанной метаморфозе. Час наступил, беспокойством бредят страны, живые страхи и нетерпенье царят в душах, и надо всем этим реют и парят одни лишь глухие, неясные слухи об освобождающем, целенаправленном слове; теперь или никогда духу дано обновить мир.

Безрадостная юность

Как символичен тот факт, что наднациональный, принадлежащий всему миру гений, Эразм, не имеет родины, нет сколь-нибудь точных сведений об его отчем доме, он, если можно так сказать, родился в безвоздушном пространстве. Имя свое, прославленное им на вечные времена, Эразм Роттердамский не унаследовал ни от отца, ни от предков, это имя он сам выбрал себе, язык, на котором он говорил всю жизнь, не материнский, а изученная им латынь. День и обстоятельства его рождения удивительным образом неясны; о его рождении, собственно, ничего неизвестно, кроме года, когда он увидел свет, – 1466. Нельзя сказать, что в этих неясностях Эразм был совершенно неповинен, он не любил говорить о своем происхождении, так как был внебрачным ребенком, и что еще более неприятно, ребенком священника, «*ex illicito et ut timet incesto damnatoque coitu qenitus*»⁶; все, что Чарльз Рид в своем знаменитом романе «Монастырь и любовь» так сентиментально пишет о детстве Эразма, само собой, разумеется, является вымыслом. Родители умерли рано, и по вполне понятным причинам, чтобы не тратиться на его содержание, родственники решили побыстрее избавиться от бастарда; к счастью, церковь всегда охотно брала под свое покровительство одаренных мальчиков. Девятилетний маленький *Desiderius*⁷ (в действительности не желанный) посылается в школу капитула в Девентере, а затем – в Герцогенбуш. В 1487-м году он вступает в августинский монастырь Стейн – не по религиозному влечению, а потому лишь, что у этого монастыря была в то время лучшая в стране библиотека классиков; там в 1488-м году он принимает монашество. Но полагать, что в эти годы он променял пылкость своей души на смирение, никаких оснований нет, напротив, из его писем явствует, что скорее его более занимают изящные искусства, латынь и живопись. И все же в 1492-м году епископ Утрехта посвящает его в священнический сан.

Но в священническом одеянии Эразма видели немногие; требуются известные усилия, чтобы удержать в памяти биографический факт: этот свободомыслящий и беспристрастный человек действительно до самого смертного своего часа принадлежал к служителям церкви. Эразм обладает великим даром жить, все, что давит на него, он осторожно и незаметно отодвигает от себя и в любой одежде, в любой ситуации сохраняет свою внутреннюю свободу. Под искусными предложениями он получает от двух пап разрешение не носить священническое одеяние, медицинские свидетельства, подтверждающие слабое здоровье, освобождают его от необходимости поститься, и, несмотря на все просьбы, предупреждения и угрозы своего начальства, однажды покинув монастырь, он никогда под его надзор более не вернется.

Такова важная и, возможно, самая существенная черта характера Эразма: он избегает привязанностей к кому бы то ни было и к чему бы то ни было. Никаких владетельных особ, никаких господ не желает он иметь своими покровителями, никаких богослужений не хочет он регулярно отправлять, он стремится стать свободным, никому не подчиняться из внутренней потребности быть независимым. Никогда внутренне не признавал он над собой никакой власти, не чувствовал себя обязанным в чем бы то ни было никакой владетельной особе, никакому университету, никакому призванию, никакому монастырю, никакой церкви, никакому городу, и, защищая свою духовную свободу, он на протяжении всей своей жизни последовательно и упорно защищал и свою нравственную свободу также.

К этой столь существенной черте характера органически присоединяется вторая: Эразм – фанатик независимости, но ни в коем случае не мятежник, не революционер. Напротив, он ненавидит любые открытые конфликты, как умный тактик он уклоняется от всякого бесполезного сопротивления силе и власть имущим этого мира. Он предпочитает заключать с ними

⁶ Рожденный от запретного и, как он опасается, преступного совокупления (*лат.*).

⁷ Желанный (*лат.*).

соглашения, а не фрондировать против них, он скорее хитростью обеспечит себе независимость, чем будет пытаться завоевать ее. Он не сбросит с себя широким драматическим жестом, как Лютер, рясу августинца, потому что она очень теснит его душу; нет, он тихо снимет ее, получив на это негласное разрешение: как хороший ученик своего земляка Рейнеке Фукса, он ловко и умело уйдет от любой ловушки, которая угрожает его свободе. Он слишком осторожен, чтобы когда-нибудь стать героем, но, обладая ясным духом, которому известны человеческие слабости, он добивается того, что необходимо для развертывания его индивидуальности: в вечной битве за независимый образ жизни он побеждает не смелостью, а знанием психологии.

Но этому великому искусству – сделать жизнь свободной и независимой (самое трудное искусство для каждого художника) – следует еще научиться. Школа Эразма сурова и скупа. Лишь двадцатилетнему ему удается спастись от монастыря, узость и ограниченность которого становятся для него непереносимыми. Но – это первая проверка его дипломатических способностей – покидает он стены монастыря не как монах, нарушивший данный им обет, нет, после инспирированных им тайных переговоров его вызывают к епископу Камбрэ, чтобы сопровождать того в качестве секретаря-латиниста в поездке по Италии; узник монастыря открывает для себя Европу, свой будущий мир в том же году, когда Колумб открыл Америку. К счастью, отъезд епископа в Рим задерживается, и Эразм располагает достаточным временем, чтобы наслаждаться жизнью, отвечающей его внутренним потребностям, он не должен читать мессы, может сидеть за хорошо сервированным столом, общаться с умными людьми, со страстью отдаваться изучению латинских и церковных классиков и, кроме этого всего, писать свой диалог «*Antibarbari*»⁸, впрочем, это название первого произведения он мог бы поставить на титульных листах всех своих последующих книг. Совершенствуя свои манеры, совершенствуя свою латынь, он, сам не подозревая этого, начинает великий военный поход всей своей жизни против необразованности, глупости и традиционного зазнайства; к сожалению, поездка епископа Камбрэ в Рим отменяется, и прекрасные времена должны внезапно закончиться, латинский *secretarius*⁹ более ему уже не нужен. Казалось бы, отданному для временных услуг монаху Эразму надлежит послушно вернуться в свой монастырь. Но, испив однажды сладкой отравы свободы, он эту свободу терять не желает. И он симулирует неодолимое влечение к вершинам религиозных знаний, со всей страстностью и энергией подавляет свой страх монастырской жизни и, пользуясь талантом тонкого психолога, уговаривает добродушного епископа послать его стипендиатом в Париж, чтобы получить там степень доктора богословия. Наконец епископ дает ему свое благословение и, что для Эразма намного важнее, небольшую стипендию. Напрасно приор монастыря ждет возвращения вероломного монаха; ему следует привыкнуть ждать этого монаха годы и десятилетия, ибо Эразм давно самовластно и на всю жизнь освободился и от монашества, и от любого другого принуждения.

Епископ Камбрэ дает молодому студенту-семинаристу обычную стипендию. Но стипендия эта ужасающе тоща, мизерна для тридцатилетнего мужчины, и с горькой насмешкой Эразм крестит экономного покровителя «своим *Antimaecenas*»¹⁰. Привыкший к свободе, избалованный столом епископа, вынужден он жить в унижительных для себя условиях *domus pauperum*¹¹, в пресловутой коллегии Монтегю, которую он возненавидит из-за господствующего там аскетизма и сурового следования религиозным правилам. Расположенное в Латинском квартале на холме Св. Мишеля (примерно там, где сейчас находится Пантеон), это узилище духа активно и полностью «ограждает» молодого жизнелюбивого студента от веселого времяпрепровождения

⁸ «Антиварвары» (лат.).

⁹ Секретарь (лат.).

¹⁰ Антимаценатом (лат.).

¹¹ Дома для бедных (лат.).

со светскими товарищами; с каторгой отождествляет Эразм богословскую тюрьму своих юношеских лет; имея представление о гигиене, поразительно близкое нашему времени, Эразм в своих письмах постоянно жалуется: спальные комнаты вредны для здоровья, стены – холодны, как лед, скверно окрашены, совсем рядом расположено отхожее место, длительное пребывание в этой «Укусной коллегии» непременно кончается серьезной болезнью или же смертью. И еда не доставляет ему никакого удовольствия, яйца и мясо – тухлые, вино – прокисшее, ночь проходит в бесславной борьбе с паразитами. Позже он съязвит в своих «Беседах»: «Ты из Монтегю? Без сомнения, глава твоя увенчана лаврами? – Нет, блохами». Тогдашнее монастырское воспитание не избегало телесных наказаний, и если фанатичный аскет Лойола двадцать лет наслаждался в подобном учебном заведении и, воспитывая волю, терпеливо сносил розги и палки, то у нервной и независимой натуры Эразма все это вызывает отвращение. И занятия противны ему: он очень быстро распознает сущность схоластики с ее омертвелым формализмом, с ее изощренностями и плоским буквоедством, на всю жизнь возненавидит он ее – художник будет бунтовать в нем против насилования духа, против этого прокрустова ложа, бунтовать не так заразительно весело, как позже Рабле, но с такой же страстностью. «Никто из тех, кто хоть однажды общался с музами или грациями, не в состоянии понять таинств этой области знаний. Все, что ты приобрел от *bonae litterae*¹², ты неизбежно утратишь здесь, и все, что испил из источников Геликона, отдашь обратно. Я делаю все, что в моих силах, не занимаюсь ни латынью, ничем милым моему сердцу, ничем духовным, и настолько преуспеваю в этом, что, надо надеяться, они однажды примут меня за своего». Но вот болезнь дает столь страстно ожидаемый повод, приходится пожертвовать степенью доктора богословия. Правда, вскоре после излечения Эразм вернется в Париж, но не назад, в «Укусную коллегию», в «*Collège vinaigre*», нет, он предпочтет стать домашним учителем и репетитором юных состоятельных немцев и англичан: в священнике пробудилась независимость художника.

Но в мире, который еще не полностью освободился от гнета Средневековья, мыслящий человек независимость обрести не может. У каждого сословия – четкие границы; светские князья и князья церкви, духовенство, торговцы, солдаты, ремесленники, крестьяне, каждое сословие представляет собой застывшую общность, защищенную, словно каменной стеной, от любых нарушителей ее покоя. В этом мировом порядке пока еще нет своего места для людей думающих, для творческих личностей, для ученых, свободных художников, музыкантов, еще не изобретены гонорары, которые спустя некоторое время обеспечат этим людям независимость. Человеку интеллекта, следовательно, не остается иного выбора, как служить какому-нибудь господствующему сословию, он должен стать либо слугой князя, либо слугой Бога. И поскольку искусство пока еще не является самостоятельной силой, ему следует искать благосклонности у власть имущих, художник должен стать любимцем, фаворитом какого-нибудь аристократа, здесь выпросить какие-то доходы, там – пенсией, должен – до времен Моцарта и Гайдна – кланяться среди других слуг. Если он не хочет умереть с голоду, ему следует тщеславным льстить в своих посвящениях, боязливых припугнуть памфлетами, богатых забрасывать просительными письмами – беспрестанно, без уверенности в успехе у одного покровителя или у нескольких, непрерывно биться в этой недостойной борьбе за хлеб насущный. Десять, двадцать поколений художников жили так – от Вальтера фон дер Фогельвейде до Бетховена, который первый потребовал свое право художника у сильных мира и, ни с чем не считаясь, взял его себе. Впрочем, самоунижение, постоянная необходимость льстить и покоряться для Эразма, человека с ироническим умом, – не такая уж тяжелая жертва. Он давно распознал фальшь современного ему общества: не бунтовщик по своей природе, он принимает законы этого общества без жалоб и направляет свои усилия на то, чтобы обойти встающие перед ним

¹² Изящной литературы (*лат.*).

преграды или пробиться через них. Но его путь к успеху труден и незавиден: до своих пятидесяти лет, когда светские князья станут домогаться общения с ним, когда папы и вожди Реформации начнут просительно обращаться к нему, когда печатники станут осаждать его, а богачи сочтут для себя за честь послать ему в дом какой-нибудь подарок, Эразм вынужден будет жить на подачки. Он должен будет кланяться уже поседевшей головой: бесчисленны его подобострастные посвящения, льстивые эпистолы составят большую часть его корреспонденции, и, собранные вместе, они могли бы послужить классическим письмовником для просителей, с таким искусством стилизует он свои прошения, такой лестью уснащает их. Однако за этим, часто достойным сожаления, отсутствием гордости таится неколебимая воля к независимости. Эразм льстит в письмах, чтобы иметь возможность быть правдивым в своих произведениях. Он позволяет себе постоянно принимать подарки, но никому не продается, он отклоняет все, что могло бы на длительное время его к кому-либо привязать. Уже всемирно известный ученый, которого десятки университетов очень хотели бы видеть профессором у себя, он предпочитает быть простым корректором в книгопечатне Альда в Венеции, воспитателем или мажордомом у знатного английского аристократа или просто приживалом у богатого знакомого, но лишь до тех пор, пока его это устраивает, и никогда – надолго. Эта упорная, настойчивая воля к свободе, это нежелание длительное время кому бы то ни было служить делают Эразма на всю жизнь кочевником. Непрерывно находится он в пути, непрерывно меняет города, страны, в которых некоторое время живет: Голландия, Англия, Италия, Германия, Швейцария; Эразм – наиболее много путешествующий среди ученых своего времени, никогда – совершенно нищий, никогда – достаточно богатый, всегда, подобно Бетховену, «живущий в воздухе», но блуждания по свету, непрерывная смена мест жительства его философской натуре дороже, чем дом и родина. Лучше быть ненадолго незначительным секретарем епископа, чем стать епископом навсегда, лучше ненадолго – за кошелек дукатов – советчиком князя, чем всемогущим канцлером. Инстинктивно боится этот человек любой внешней силы, любой карьеры: творить в тени власти, оставаясь свободным от всякой ответственности, читать в тиши своей комнаты хорошие книги, ничей не проситель, ничей не подданный – вот, по существу, жизненный идеал Эразма. Ради этой духовной свободы идет он вслепую, подчас окольными путями, но все они ведут к одной и той же сокровенной цели – к духовной независимости его искусства, его жизни.

Подлинное свое призвание тридцатилетний Эразм открывает в Англии. До сих пор он жил в затхлых монастырских кельях среди ограниченных плебеев. Спартанская муштра семинарии и духовные тиски схоластики были подлинной пыткой для его чувствительных нервов, для его любознательной души. В этих условиях чрезвычайных ограничений дух его развернуться не мог. Но вероятно, горечь, пронизывавшая его тогдашнее существование, нужна была для того, чтобы пробудить в нем чудовищную жажду к знаниям, к свободе, ибо эта муштра научила его страстно ненавидеть все ограниченное, тупое, доктринерски одностороннее, все жестокое и властное – именно оно, Средневековье, причинив Эразму Роттердамскому, его телу, его душе такие ужасные муки, сформировало из него посланца Нового времени. Приехав в Англию со своим юным учеником, лордом Маунтджоем, он впервые с наслаждением дышит тонизирующим воздухом духовной культуры. В счастливый час является Эразм в англосаксонский мир, после нескончаемых войн Алой и Белой розы, войн, которые на протяжении десятилетий разоряли страну, Англия наконец-то может насладиться благословенным миром, а ведь науки и искусства свободно развиваются только там, где война и политика отступают на задний план. Прежде всего незначительный монастырский школяр и репетитор впервые для себя открывает, что существует сфера, где сила и власть принадлежат лишь духу и знаниям. Никто здесь не интересуется тем, что он незаконнорожденный, никто не проверяет, сколько раз он молится, сколько месс посещает, здесь в самых аристократических кругах его ценят лишь как художника, как интеллектуала за его изящную латынь, за его содержательные и логически

построенные рассуждения; счастливый, он пользуется широким гостеприимством, благородной непредубежденностью англичан:

«... ces grands Mylords,

Accords, beaux et courtois, magnanimes et forts»¹³, – как славил их Ронсар. В этой стране ему открылся совсем другой образ мышления. Хотя Уиклиф давно уже забыт, в Оксфорде продолжает жить более свободное, более смелое понимание богословия, здесь находит он учителя греческого языка, который открывает ему путь к новой, неведомой ему классике, лучшие умы, великие мужи становятся его покровителями и друзьями, даже молодой король Генрих VIII, тогда еще принц, принимает его у себя. Это делает честь Эразму, а его полная достоинства манера держать себя покоряет благороднейших людей тогдашней Англии. Томас Мор и Джон Фишер становятся его самыми близкими друзьями, Джон Колет, архиепископы Уорхем и Крэнмер покровительствуют ему. Со страстной жадной молодой гуманист дышит насыщенным духовностью воздухом, использует гостеприимство, чтобы расширить свои знания, углубить их, в общении с аристократами он совершенствует свой английский язык, свои манеры. Происходит разительная перемена: из неловкого, робкого монастырского священника он превращается в аббата, который свою сутану носит как партикулярное платье. Эразм начинает следить за своей внешностью, он учится верховой езде и приемам охоты, светскому образу жизни; потом, в Германии образ жизни Эразма будет чрезвычайно сильно отличаться от грубых, неуклюжих форм жизни провинциальных гуманистов, что в известной мере определит его суверенное положение, – этому образу жизни он научился в гостеприимных домах английских аристократов. Оказавшись в центре политической жизни мира и внутренне близкий лучшим умам церкви и двора, он разовьет дальновзоркость и универсальность ученого, которыми позже удивит мир. Но мягкий, доброжелательный характер его не меняется. «Ты спрашиваешь меня, – пишет он радостно другу, – люблю ли я Англию? Ну, если ты даришь меня доверием, прошу тебя, поверь мне и в этом: ничто не доставило мне больше радости, чем приезд сюда. Я нашел здесь приятный и здоровый климат, бездну культуры и учености, причем образование не педантичного и банального характера, а глубокое, точное и классическое, такое, например, как латинское, как греческое, и поскольку я имею возможность пользоваться всем этим здесь, я не очень-то стремлюсь в Италию. Когда я разговариваю с моим другом Колетом, мне кажется, что я беседую с самим Платоном, и создала ли Природа более доброжелательного, более приятного, более счастливого человека, чем Томас Мор?» В Англии Эразм излечился от Средневековья. Но вся любовь к Англии Эразма англичанином все же не делает. На континент он возвращается как космополит, как гражданин мира, как свободная и универсальная личность. Отныне его любовь всегда там, где господствуют знания и культура, образование и книга; страны, реки, моря, положение в обществе, раса, сословие не отгородят его теперь от мира. Ему ведомы лишь две категории людей: аристократия образования и духа – это верхушка мира, плебс и варварство – низы мира. Родина отныне у него там, где господствуют книга и слово, *eloquentia et erudition*¹⁴.

Это упорное ограничение своих интересов кругом интересов аристократии духа, тончайшей прослойки культуры, приводит к тому, что и образ Эразма, и его произведения как бы лишены корней: как истый космополит он всюду остается лишь гостем, лишь посетителем, он не принимает обычаев народа, среди которого живет, не усваивает живого языка этого народа. Во всех своих бесчисленных поездках по странам Европы он, в сущности, не заметил самого важного для каждой из этих стран. Для него Италия, Франция, Германия и Англия – это несколько десятков людей, с которыми он может вести изысканные беседы, это библиотеки

¹³ ...Эти благородные милорды, гармоничные, изящные и учтивые, великодушные и сильные (*фр.*).

¹⁴ Красноречие и ученость (*лат.*).

этих людей, да еще он замечает также, где гостиницы почище, люди повежливее, вина лучше. Но все остальное, не имеющее касательства к искусству книгопечатания, остается для него за семью печатями, у него нет никакого интереса к живописи, к музыке. Он не замечает, что в Риме творили Леонардо, Рафаэль и Микеланджело, а увлечение пап произведениями искусства он порицает как расточительство, как противоречащую Евангелию любовь к роскоши. Никогда не читал Эразм ни одной строфы Ариосто, чуждыми остаются ему в Англии – Чосер, во Франции – французская поэзия. Лишь одному языку – латыни, отдает он все свое внимание, а искусство Гутенберга для него единственная муза, которую он действительно по-настоящему любит, он, утонченнейшая личность, познающий сущность мира лишь через *litterae*, через букву. В контакт с действительностью он не умеет вступить иначе, как через посредство книги, и общение с книгой доставляет ему неизмеримо больше радости, нежели общение с женщинами. Он любит книги потому, что они тихи, не применяют насилия, чужды тупой толпе, являются единственной привилегией образованных людей в эти столь бесправные времена. Только в сфере книг этот человек, обычно очень экономный, позволяет себе быть расточительным, и если своими посвящениями он и домогается денег, то делает это единственно для того, чтобы иметь возможность приобрести книги, все больше и больше книг, греческих, латинских классиков, и любит он эти книги не только за их содержание, нет, как один из первых библиофилов, он любит их плотской любовью, он обожает и процесс создания их, и уже созданные, он боготворит книгу как необходимый в работе материал и как художественное произведение, которым можно без конца любоваться и любоваться. Счастливейшими часами его жизни являются те, когда он может стоять у Альда в Венеции или у Фробена в Базеле, в полуподвальных низких книгопечатнях, среди печатников, принимать из-под пресса еще влажные оттиски, совместно с мастерами этого искусства вносить в текст украшения, вырисовывать тонкие буквицы, словно зоркий охотник, проворным, тонко отточенным пером вылавливать опечатки или быстро выправлять латинскую фразу – работа над книгой, для книги – самая естественная форма его натуры. В конечном счете Эразм никогда не живет в народе, в стране, он живет над ними, в тончайшей атмосфере провидца, в *tour d'ivoire*¹⁵ художников, в кругу академиков. Но из этой башни, построенной из книг и творческого труда, он другой, новый Линкей с любопытством заглядывает вниз, чтобы свободно, непредвзято и справедливо видеть и понять живую жизнь.

Ибо познание, все более глубокое познание – вот подлинная страсть этого удивительного гения. В строгом смысле слова Эразма, может быть, глубоким гением назвать и нельзя: он не принадлежит к «мыслителям до конца», к великим преобразователям, дарящим вселенной новые духовные системы планет; нет, сила Эразма, как ученого, во внесении ясности в темные вопросы, но если его нельзя назвать глубоким мыслителем, то он, бесспорно, человек необыкновенно широкого кругозора, ясномыслящий, свободомыслящий, как, например, Вольтер и Лессинг, человек, умеющий прекрасно понимать и делать понятным, просветитель в самом благородном значении этого слова. Его природе присуще распространять ясность и честность. Все хаотичное противно ему, все запутанное, мистическое и вычурно метафизическое органически вызывает в нем отвращение; подобно Гёте, он ничего не ненавидит больше, чем «туманное», «расплывчатое». Ширь манит его, но не глубина: никогда не склонялся он над «безднами» Паскаля, душевные потрясения Лютера, Лойолы или Достоевского, этот род ужасных кризисов, таинственным образом родственных смерти или безумию, чужды ему. Все утрированное остается за пределами его рационалистического мышления. Но с другой стороны, нет другого человека Средневековья столь несусеверного, как он. Он, вероятно, тихо посмеивается над конвульсиями и кризисами своих современников, над видениями ада Савонаролы, над

¹⁵ Башне из слоновой кости (*фр.*).

паническим ужасом Лютера перед чертями, над астральными фантазиями Парацельса; только реальное понимает он и делает понятным другим. Ясность органически присуща его миропониманию, и все, что бы он ни осветил своим неподкупным взглядом, тотчас же становится ясным и упорядоченным. Благодаря этой чистой, как вода, прозрачности мышления и благоразумию чувств он стал великим просветителем, обличителем пороков своего времени, воспитателем и учителем не только своего поколения, но и последующих – все просветители, вольнодумцы и энциклопедисты восемнадцатого столетия и великое множество девятнадцатого очень многим ему обязаны.

Во всем разумном и назидательном таится, однако, опасность скатывания в филистерство, в мещанство, и если просветительство семнадцатого, восемнадцатого столетий отвратительно нам своим самонадеянным резонерством, то вина в этом не Эразма, ибо те просветители подражали лишь его методу, не заимствуя его дух. Им не хватало размаха, недоставало грана аттической соли, того суверенного превосходства, которые делают все письма, все диалоги их учителя такими интересными, такими литературно лакомыми. Эразм все время балансирует между некоей светлой насмешливостью и торжественной ученостью, он достаточно силен, чтобы играть своей духовностью, и при всем этом ему близка искрящаяся, но не злая шутка, едкая, но не злобная, наследниками которой стали сначала Свифт, а затем Лессинг, Вольтер, Шоу. Первый стилист нового времени, Эразм знает, как шепнуть, подмигивая, некие еретические тайны, он умеет с гениальной дерзостью и неподражаемой ловкостью протащить рискованнейшие мысли перед самым носом цензуры, этот опасный бунтовщик, который, однако, себе никогда не повредит, защитившись мантией ученого или быстро накинутым балахоном шута. За одну десятую того, что Эразм в свое время сказал, иные шли на костер, потому что говорили они это напрямик; его же книги папы и князя церкви, короли и герцоги чрезвычайно почитали и даже оплачивали их учеными степенями, званиями и подарками. Подавая свои мысли очень искусно, в «безобидной» литературно-гуманистической «упаковке», Эразм смог контрабандой внести в монастыри и дворцы владетельных особ, по существу, всю взрывчатку Реформации. С ним начинается – всегда он первопроходец – высокая политическая проза во всех своих градациях, до резвого пасквиля, окрыленное искусство зажигательного слова, доведенное затем Вольтером, Гейне и Ницше до совершенства, слова, высмеивающего все светские и духовные власти, всегда более опасного власть имущим, чем открытая атака флегматичных. Благодаря Эразму писатели Европы впервые стали представлять собой такую силу, с которой не считаться было уже невозможно. И непреходящая слава Эразма в том, что он этим своим оружием пользовался не для развязывания столкновений противоборствующих лагерей или разжигания ненависти, а для единения, для создания общности.

Великим писателем Эразм стал не сразу. Человек его склада должен состариться, чтобы иметь основания воздействовать на мир. Паскаль, Спиноза, Ницше стали великими уже молодыми, сконцентрированный дух каждого из них уже в юности нашел свое полное завершение. Эразм же, напротив, дух собирающий, ищущий, компилирующий; пожалуй, он не обладает субстанцией, а заимствует ее из окружающего мира, действует не интенсивно, а экстенсивно; Эразм более мастер, чем художник, для его вечно готового к работе интеллекта письмо всего лишь другая форма беседы, он не тратит на него никаких особых усилий духа, однажды он сам сказал, что написать новую книгу ему проще, чем править корректуру старой. Ему не надо ни возбуждать, ни подгонять себя, его ум и без этого всегда действует быстрее, чем может следовать за ним слово. «Мне казалось, – пишет Цвингли, – когда я читал твое письмо, что будто я слышу тебя и вижу перед своими глазами твой маленький, изящный образ». Чем легче Эразм пишет, тем более он убежден в том, что именно пишет, чем больше он творит, тем действеннее созданное им.

Первое произведение приносит Эразму славу благодаря случаю или, скорее, неосознанно угаданной им атмосфере времени, в которой он живет. Молодой Эразм в учебных целях год собирал для своего ученика латинские цитаты, благоприятные условия позволили ему издать их в Париже под названием «Adagia»¹⁶. Непреднамеренно он пошел этой книгой навстречу снобизму своего времени, так как латынь как раз стала модной и каждый человек, занимающийся литературным трудом – это справедливо и для нашего времени, – решил, что для того, чтобы его считали «образованным», следует нашпиговать латинскими цитатами письмо, вообще любое сочинение или свою речь. Удачная подборка цитат облегчает всем гуманистам-снобам труд, освобождает их от необходимости читать классиков. Всякому пишущему письмо незачем листать фолианты, он быстро выуживает славную фразу из «Adagia». А поскольку снобы во все времена были и существуют в огромных количествах, такая книга очень быстро находит читателя: издания одно за другим – каждое последующее содержит цитат едва ли не вдвое больше, чем предыдущее, – печатаются во всех странах, и сразу же имя найденыша и бастарда Эразма становится известным во всей Европе.

Одна удача еще не создает писателя. Если же успех повторяется вновь и вновь, причем каждый раз в разных областях, тогда он свидетельствует уже о призвании, тогда у этого художника действительно имеется особый дар, искусству успеха не обучаются, никогда осознанно Эразм не стремится к успеху, и всегда успех самым неожиданным образом выпадает на его долю. Написав для своих учеников диалоги, предназначенные для того, чтобы они более легко усваивали латынь, он печатает свои «Colloquia»¹⁷. Книга становится настольной книгой для трех поколений. Он считает, что его «Похвала Глупости» – небольшая шуточная сатира, однако в действительности эта книга вызывает революцию против всех авторитетов. Заново переводя Библию с греческого на латинский и комментируя ее, он зачинает этим новое богословие. Написанная им в немногие дни книга утешений¹⁸ для набожной женщины, чувствующей себя задетой безразличным отношением мужа к религиозным вопросам, становится катехизисом нового евангелического учения. Не метаясь, он всегда попадает в цель. Чего бы суверенно ни коснулся свободный и непредвзятый дух Эразма, это становится открытием в сфере устаревших представлений оробевшего мира. Ибо тот, кто самостоятельно мыслит, всегда мыслит наиболее правильно и наиболее полезно для других.

¹⁶ «Пословицы» (лат.).

¹⁷ «Беседы» (лат.).

¹⁸ «Кинжал христианского воина».

Портрет

«Лицо Эразма едва ли не самое выразительное, самое решительное лицо из тех, что я видел», – говорит Лафатер как физиогномист, находящийся на недостижимой высоте. И с таким именно «решительным», с таким выразительным лицом, характерным для типа человека Нового времени, рисуют Эразма и великие художники, его современники. Ганс Гольбейн, этот едва ли не самый тонкий портретист, не менее шести раз изображал великого *Praetor mundi*¹⁹ в различные годы жизни, дважды – Альбрехт Дюрер, один раз – Квентин Метсис; ни у одного немца нет такой блестящей иконографии. Ибо иметь право рисовать Эразма, *lumen mundi*²⁰, означало открытое выражение преклонения художника перед универсальной личностью, перед человеком, соединившим разобщенные гильдии отдельных искусств в единое гуманистическое братство просветителей. В Эразме художники прославляют своего защитника, великого вождя, борца за новые эстетические и моральные формы бытия; поэтому и изображают они его со всеми инсигниями, со всеми знаками этой духовной власти. Как воина – со своим оружием, с мечом и шлемом, дворянина – с гербом и девизом, епископа – в облачении и с перстнем, на каждом портрете Эразма художник показывает его военачальником вновь открытого человеком оружия – книга. Всегда без исключения его рисуют в окружении книг, словно в окружении воинства, пишущим или творящим: на портрете работы Дюрера в левой руке у него чернильница, в правой – перо, возле него лежат письма, перед ним – нагромождение фолиантов. Гольбейн один раз представляет его опирающимся на книгу, на корешке которой – символическое название «Подвиги Геракла» – прекрасный прием для восхваления титанических творческих усилий Эразма, в другой раз художник захватил его в момент, когда он положил руку на голову старого бога Терминия, что должно символизировать причастность Эразма к созданию «понятий», – но на всех портретах подчеркивается присущее ему выражение лица, «утонченное, рассудительное, умно-осторожное» (Лафатер); всегда – думающее, ищущее, испытывающее себя, интеллектуальное придает этому, в общем-то, абстрактному лицу незабываемое, ни с чем не сравнимое сияние.

Ибо лицо Эразма, если посмотреть на него мельком, не пытаясь проникнуть в сущность характера человека, красивым ни в коем случае не назовешь. Природа не очень-то щедро оделила этого духовно богатого человека, она дала ему лишь малую толику от полноты жизни и жизненных сил: нет, это не крепкий, ладно скроенный человек, способный сопротивляться жизненным невзгодам, он невысокого роста, худой, бледный, бестемпераментный, из-за чувствительных нервов у него нежная, болезненная кожа, нездоровый цвет лица, кожа с годами соберется в складки, словно серый, ломкий пергамент, и покроется бесчисленными трещинками и морщинками. Во всем чувствуется недостаток жизненных соков: волосы – редкие и не насыщенные пигментом, лежат бесцветными космами на висках с прожилками, бескровные алебастровые руки просвечивают, очень острый нос торчит на птичьем лице, словно гусиное перо, таинственные, плотно сжатые губы Сивиллы узки, голос – слабый, глухой, небольшие, прикрытые, несмотря на их лучистость, глаза – лицо трудяги-аскета лишено красок, округлых форм. Очень трудно представить себе этого ученого молодым, едущим верхом на лошади, плавающим, фехтующим, шутящим с женщинами или флиртуящим с ними, противостоящим ветру в непогоду, громко говорящим или смеющимся. Посмотрев на это тонкое, как бы законсервированное сухое лицо монаха, сразу же непроизвольно начинаешь думать о закрытых окнах, о жарко натопленной печи, о книжной пыли, о ночах без сна, о днях, наполненных работой; ни тепло, ни токи силы не исходят от этого холодного лица, и действительно, он все-

¹⁹ Учителя жизни (*лат.*).

²⁰ Светоча мира (*лат.*).

гда мерзнет, всегда этот сидящий в комнате человек кутается в плотную, опушенную мехом одежду с широкими полами, всегда бархатный берет защищает от сквозняка рано польсевшую голову. Это лицо человека, живущего не в жизни, а в мыслях, сила его – не в теле, а в костистых сводах черепа. Вся жизненная сила этого человека, не защищенного от действительности, сосредоточена в деятельности мозга.

Облик Эразма значителен уже благодаря ауре его духовности: именно поэтому бесподобен портрет кисти Гольбейна, на котором Эразм изображен в священнейший миг, в секунды творческой работы; это шедевр из шедевров Гольбейна и, вероятно, вообще наиболее совершенное изображение писателя, который магически превращает ожившее слово в зримость букв. Вспомним эту картину – увидевший ее однажды никогда не забудет! – Эразм стоит перед пультом, и самыми кончиками нервов непроизвольно чувствуешь: он здесь один. В комнате царит абсолютная тишина, дверь, расположенная за работающим человеком, должно быть, заперта, никто не войдет, ничто не шелохнется в узкой келье, но, если бы даже что-нибудь возле него и произошло, погруженный в себя, находящийся в плену творческого транса человек не заметил бы этого. Словно каменное изваяние, видится он нам в своей неподвижности, но если присмотреться к нему повнимательнее, то увидишь, что это состояние – не покой, нет, это погруженность в себя, таинственная, полностью до конца ушедшая внутрь и протекающая там жизнь. С напряженным вниманием глаз следит за словом, за буквами, которые на белый лист бумаги записывает послушная исходящему сверху приказу правая, узкая, худая, едва ли не женская, рука. Губы сжаты, лоб, неподвижный и холодный, блестит, перо легко и, похоже, механически наносит рунические знаки на неподвижный лист. Но нет, маленький, едва заметный мускул между бровями выдает напряженность работы ума, протекающей невидимо, почти незаметно. Почти нематериальны эти маленькие судорожные складки возле творческой зоны мозга, эти мучительные кольца подтверждают, что происходит творческий процесс претворения мысли в слово. Мысль показана здесь прямо-таки материально, и чувствуешь все напряжение, всю напряженность в этом человеке, обтекаемом таинственными токами молчания; великолепно удалось художнику подметить и зафиксировать в зримой форме этот, вообще-то не поддающийся наблюдению, момент химического преобразования духовной материи. На эту картину можно смотреть часами, любоваться ее парящим покоем, ибо в этом портрете Эразма Гольбейн увековечил священное величие обобщенной творческой личности, невидимое терпение обобщенного истинного художника.

* * *

Уже в одном этом портрете – сущность Эразма, уже здесь предугадывается скрытая сила, притаившаяся в тщедушном, жалком теле, которое тащит за собой, словно хрупкую раковину, этот человек духа. Всю свою жизнь Эразм был очень болезненным и очень страдал от этого, ибо если Природа обделила его здоровьем, то с избытком возместила этот урон, дав ему очень чувствительную нервную систему. С самых юных лет его мучает неврастения, возможно, ипохондрия, очень скупо защищен он броней здоровья, очень уж много у него уязвимых, чувствительных к ударам мест. То это желудок, то ревматические боли раздирают ему руки и ноги, то камни в почках причиняют невыносимые страдания, то подагра грозит своими страшными клещами, любой сквозняк, подобно глотку холодной воды на обнаженный нерв зуба, вызывает у этого сверхчувствительного человека болевую реакцию; письма его очень часто похожи на выписку из истории болезни, он описывает свои хвори и способы, которыми старается излечиться. Климат ни одной страны не нравится ему, он стонет от жары, становится меланхоличным при тумане, ненавидит ветер, мерзнет при малейшем похолодании, но, с другой стороны, не выносит запаха сильно нагретой изразцовой печи; чад, кухонные запахи, любые испарения вызывают у него головную боль и тошноту. Напрасно кутается он все время в шубу и теплые халаты:

тело все равно мерзнет, каждый день ему приходится бургундским подстегивать свою непрерывно застаивающуюся кровь. Но если вино – с маленькой кислинкой, его кишечник немедленно заявит о себе. Очень ценящий хорошо приготовленную пищу, прилежный ученик Эпикура, Эразм несказанно боится плохой, грубой пищи, так как против несвежего мяса бунтует его желудок, и даже запах рыбы вызывает у него спазмы горла. Эта чувствительность понуждает его к привередливости, удобства быта становятся его жизненной потребностью: Эразм может носить одежду лишь из хорошо выделанной, добротной материи, спать только в чистой постели, на его рабочем столе вместо обычно коптящих сосновых лучин должны стоять дорогие восковые свечи. Поэтому любая поездка ему пренеприятна, и сообщения вечного путешественника о тогда еще плохо организованных немецких постоянных дворах являют собой незаменимое в культурно-историческом плане и одновременно потешное перечисление неудобств и опасностей, сопряженных с путешествием. Живя в Базеле он, идучи из дома или возвращаясь домой, обязательно делает крюк, чтобы обойти особенно дурно пахнущую улицу, любая вонь, любой шум, дым, любые нечистоты и, если перенестись в область духовного – грубость, дикость, жестокость и беспорядки вызывают в нем смертельные душевные муки; после того как друзья сводят его однажды в Риме на бой быков, он с отвращением заявит: «Я не получаю никакой радости от подобных кровавых игр, этого пережитка варварства»; присущая ему внутренняя мягкость страдает от любой формы невежества. В век полного пренебрежения к требованиям физической чистоты этот одинокий гигиенист, отчаявшись, ищет такой же чистоты в быту, которой придерживается сам как человек, как писатель, как художник в своем стиле, в своей работе; культурные запросы его организма на столетия опередили запросы его ширококожих, толстокожих современников с железными нервами. Но страхом всех его страхов является чума, свершавшая в те времена смертоносные налеты на страны Европы. Едва он услышит, что черная зараза появилась в ста милях от того города, где он находится, его пробирает дрожь, он тотчас же в панике бежит, безразлично, пригласил ли его сюда император или какая-нибудь влиятельная особа сделала ему заманчивое предложение: ему кажется унижительным даже представить себе свое тело покрытым язвами проказы, нарывами или паразитами. Эразм никогда не отрицает эту сверхбоязнь любых болезней и как приземленный человек ни в малейшей степени не стыдится признать, что «трясется при одном лишь упоминании о смерти». Как всякий любящий свою работу и принимающий ее всерьез, он не желает пасть жертвой глупого, бестолкового случая, жертвой заразы, хорошо зная присущие ему телесные слабости и особую подверженность своей нервной системы заболеваниям, он с особой, подчеркнутой боязливой экономностью щадит и стережет свое маленькое сверхчувствительное тельце. Он избегает широкого хлебосольства, тщательно следит за чистотой приготовления пищи, сторонится соблазнов Венеры и особенно боится бога войны Марса. Чем больше с годами ухудшается его здоровье, тем осознаннее строит он свою жизненную стратегию на основе арьергардных боев ради малой толики покоя, безопасности, уединения – всего того, что ему так необходимо для удовлетворения единственной его страсти – работы. И лишь благодаря этой заботливости при выполнении разработанных им гигиенических правил, этому отказу от чувственных увлечений, Эразму удается невероятное – семьдесят лет тащить хрупкую колымагу своего хилого тела через годы, едва ли не дичайшие и пустынейшие из всех времен, и при этом сохранить единственное действительно самое важное для него на этой земле: святость своих взглядов и неприкосновенность внутренней свободы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.